

Александр Андрюхин

ПОД ФОНАРЕМ

десятая книга стихов

1992-1993

ТЕПЕРЬ

Теперь не то в цветочных магазинах,
как будто в склеп пришел — не в магазин.

В них юные прелестницы в лосинах
не цокают давно среди корзин.

Младое племя девушкам в подолы
взволнованно не сыплет свежих роз.
А по углам, что были пусты, голы,
теперь шмотье бесстыже разрослось.

В соседстве с этим блеском так невзрачны
гвоздики, астры... роз печален вид.
И дремлет продавец, и однозначно,
что мир цветочных запахов забыт.

Иной лоточный мир ломает двери
и в рай зовет, и не зевать велит.
Да, все течет водой! По крайней мере
так утверждал когда-то Гераклит.

Да, все течет, меняется: на шило
обычно — мыло, мыло — на судью,
судью — на золото (чтоб мозги сушило),
а золото — на гробы, и с тем — адью!

И так всегда. По мере их вползанья,
лоточников, в цветочные миры,

все меньше по дворам благоуханье
разносит ветер, треплющий умы.

Уж те забыли розы запах, эти ж —
не знали вовсе, проявляя спесь.
Так пусто, тихо стало, что не встретишь
друзей, а если встретишь, то не здесь.

Свой путь земной пройдя до середины,
друзей я не затронул лучших струн.

— Ну, как живешь?

— Все также с лебединой
нищаю песней, хоть душою юн.

Без роз... без грез, что больше не витают,
куда же дальше топать и бежать?
Вот розы вянут, астры увядают —
и нам за ними уж недолго ждать...

А СЕГОДНЯ ТАК ТИХО

А сегодня так тихо, так тихо сегодня с утра:
не шумят тополя, и березы скромны и укромны.
Уж полгода как нет, уж полгода (а точно вчера)
моей бабушки, бабушки Анастасеи Петровны.

Пусть ей пухом земля, хоть на что ей земля в облаках?
Пусть ей прахом грехи, хоть грехам ее внуки дивятся.
Что за свойство людей распадаться на пух и на прах?
Пусть же пухом душа ее будет, чтоб выше подняться.

А сегодня так тихо, так тихо, как будто сама
мать-земля вспоминает вселенское детство любовно.
Как мое беспризорное детство жалела она,
очень славная бабушка Анастасея Петровна.

Я не знаю, знавала ли счастье? Но то, что хлебнуть
ей пришлось, — не выдерживает типографская верстка:
две войны, две разрухи, голодная волжская жуть,
грабежи, комиссары, холера, колхоз, продразверстка.

И всю жизнь в ожиданье: то хлеба, то свыше детей,
то с войны мужика, то — из плена, то писем из ссылок,
то зарплаты, то божеских цен, то победы идей,
а в последнее время —
все больше по ближним поминок.

Оттого на Руси поминают всех «горькой». И поп
больше дыму пускает, чем сладко поет для спасенья.

Так всю жизнь экономя, едва накопила на гроб
очень кроткая бабушка, бабушка Анастася.

А сегодня так тихо, так тихо, как будто в раю.

Пусть ей пухом душа,

чтоб плыла над Землей невиновно.

Кто замолвит словечко на Божьем Суде за мою
некрикливую бабушку Анастасею Петровну?

ГРАЧАТА

Без свечи в изголовье,
без церквей и Руси
нас накроет безмолвьем,
как грачат в небеси.
Там, впотьмах дохристовья,
в словесах зрела плоть.
От тупого безмолвья
упаси нас, Господь.
Упаси от печали,
что бессмертье крадет.
Было слово в начале —
послесловье грядет.
Мы рассыплемся снова
в галактический сор.
Помоги наше слово
поддержать, как костер.
Я не верил в свеченье
ритмизованных строф.
Есть слова без значенья
и значенье без слов.
Но галактики дрогнут,
словно стайки грачат,
если Музы умолкнут,
да и пушки смолчат.
Мы свое откричали
в типографском свинце.
Было слово в начале,
будут титры в конце.

В ПРОЦЕДУРНОЙ

Что сердечко, сынок, не шагнув за порог,
надсадил уж, как ветхую дверь?
Только сердца порок в этом мире, сынок,
он не самый ужасный, поверь.
Что так губы белы от больничной иглы?
Перед нею и я — как сокол.
И в глазенках укор. Только в попу укол,
разве это, дружище, укол?
Что свернулся, как ноль, раскудрявый король,
на медбрата ресницы раскрыв?
Но сердечная боль — то особая боль,
и особенный в сердце надрыв.
Надорвешься потом, как упрешься в Содом,
где порок будет день оглашать.
И что делать? Кем слыть?
Быть — не быть? И чем жить? —
Лишь тебе, мой кудрявый, решать.
То ли к небу взлетать, то ли звезды хватать,
то ли высь проклинать, как Дедал.
То ли кожу иметь, чтоб звенела, как медь,
но Господь этой кожи не дал.
Сердце, милый, оно — надрывное одно
на все пять миллиардов всех стран,
и весь мир сквозь него пропустить, все равно
что сквозь ушко иглы караван.

ЖГУ СТИХИ

Жгу стихи перед сном из блокнота —
пусть познают каминный Освенцим.
В голове — как в норе у енота,
как в норе у енота — и в сердце.
Ах, все к дьяволу: святки и свитки...
У сестрицы кончаются нитки.

Я узнал по тому, как обвисли
лица встречных и выдохлись власти.
У поэтов кончаются мысли,
у актеров кончаются страсти.
Все исчезнет с Земли, даже Шнитке —
у сестрицы кончаются нитки.

В этот мир, что в цветах и милашках,
сотни лет она глаз не казала.
Все держалось на этих рубашках,
что сестрица для братьев вязала.
Но тускнеют и золота слитки,
а тем более — чертовы нитки.

Боже, девочка, что за охота
мир спасать, словно баржу на бирже?
Жгу стихи перед сном из блокнота —
не нуждается мир в моих виршах.
Вот в рубашках — и гады, и пташки,
ведь в людей превращают рубашки.

Только где они, девочка? К пытке
приготовься опять в воскресенье.
Что за дьявол? Лишь кончатся нитки,
и надежд уже нет на спасенье.
Кто их прясть из крапивы для брата
станет? Ты же — слепа и горбата.

Все кончается. Даже каминь.
Вот последние лижет страницы.
И последние мысли, как мины.
И последний клубок у сестрицы.
На пол нить мироздания ляжет,
но она и ее всю извяжет.

СЛОВОМ, ДОЖДЬ

В дождь случаются мысли, не то чтобы звонкие, но,
снизойдя с высоты, удивляют упругостью мысли.
За окном — черти что, от дождя запотело стекло,
пузырятся ручки, ветви вишен уныло повисли.
Чем уныния больше снаружи, тем меньше огня
изнутри вырывается в мир, где творится такое...
А творится в нем дождь, на который люблю из окна
поглазеть беспокойно при здравии сем и покое.
Чем ненастней в миру, тем уютней сидеть за столом
с умной книгой под лампой средь вечных и ветреных истин.
Я ценю кабинетный покой с тишиной и теплом
тех, великих, чей космос от быта и сует очищен.
В дождь случаются строки, не то чтобы громкие, как
с грозовыми раскатами для оголения вишен.
Но служение Музам не терпит громов, и кулак
у виска потрясаемый, стало быть, Музам излишен.
Словом, дождь. Он случается для промыванья мозгов,
вымыванья тоски, намыванья стихов из Завета.
В дождь случается грусть, как попытка уйти от тисков
этих туч, создающих иллюзию нам беспросвета.
Я люблю беспросвет впереди. В нем брэнчание лир
виртуозней и звонче, и мысли приходят к сонету.
Говоря откровенно, ведь чем беспросветнее мир,
тем сильнее его тяга и славные потуги к свету.

ВОЛЯ

А что, слабо увидеть снова тот
кусок земли, укутанный в туманы,
и парк, где начинаются романы,
от коих продолжается наш род?

А что, слабо полжизни за любовь
минутную отдать и отозваться
на сердца зов: собраться и сорваться
в тот край туманный, где вскипает кровь?

И быть собой, и время не жалеть,
дать волю чувствам, мыслям и свободам,
с чертовками бродить по переходам
и на бродяг с гитарами глазеть.

Глазеть на зданья в стиле рококо,
барокко, и на шпили, что как шило
у неба в заднице, и лепетать: «не хило»,
и добавлять извечное: «ого!»

Что означает вкратце: «Наплевать
на прошлый день, на нынешний, грядущий!»
Слоняться бы среди толпы орущей,
да слюнки чебуречные глотать.

Потом, дрожа от холода, вдвоем
сидеть, прижавшись, у чугунной тумбы,

нашаривать впотьмах друг друга губы
и ощущать волнение под плащом.

И думать, что мы даже матерям
нужны едва ли. Воля — одинока.
Мы в ней, увы, нуждаемся до срока,
а после срока — ну ее, к чертям!

А может, так не думать. И на борт
шагнуть однажды, чтоб ускорить роды
себя, давно умершего. Но годы
я лучшие прошляпил. Вот же черт!

В ПОЕЗДЕ

Дремлю под стук колес. И в лапах
дорожной скуки нахожусь.

О этот дух, о этот запах —
бродяжий дух в мазутных «ляпах»,
которым несколько горжусь.

Звеню костями на полке. Кеды
пропахли потом. И сосед
над салом празднует победы.
(Когда жиреем мы, — все беды
с небес горячий шлют привет).

А я привет тебе щемящий
с любовью посылаю, ведь
любить на расстоянье слаще,
и мысль, она куда звеняще,
чем та, разбитая о твердь.

Куда ясней и пониманье
и поэтичней стук сердец
от ожидания свиданья.
(Не от того ль на расстоянье
нас держит столько лет Творец).

Так и лежу, трясусь, скучаю,
как нераскрытый пыльный том.
И можно спать, и можно к чаю

купить коврижку, замечая,
как ветры свищут за окном.

Столбы, мосты... И машинисты
со свистом в царствие харит
уносят. Только что нам свисты,
фанфары, флейты и флейтисты?
Нам важно, что все пролетит.

Все пролетит: и звуки Листа,
Уайльда сны, и Гете сны —
искристо, чисто, золотисто.
И раз летят они так быстро,
то значит, нам не так нужны.

Все пролетит. А я беспечно
дремлю, вникая в жизни суть.
Все тленно, бренно, быстротечно,
ах, все не ново и конечно,
и лишь любви неведом путь.

ВОЛЖСКИЙ

Марине Никулиной

Вот иду я Волжским, точно по Ордынке,
точно по Волхонке, где всех красок смесь.
Здесь излишне, в Волжске, кепи на затылке,
но с утра не лишне прогуляться здесь.
Вот идем по парку, как по Эрмитажу,
мы с Маринкой. В парке тихо, как везде.
Говорит Маринка, что растут здесь даже
кипарисы где-то, но не помнит где.
Утро. Птичий Гомон. Зной. И нет народу.
Лес пирамидальных тополиных пик.
я не видел этих кипарисов сроду,
как не видел сроду мыслящий тростник.
Сонная аллея с триумфальной аркой,
где сошли, застыли, как со старых лент,
гипсовый колхозник с гипсовой свинаркой,
девочка с козленком и интеллигент.
Вот и Ленкин офис из колонн понтийских —
ничего так офис из таких колонн.
Вот и, кстати, Ленка в шортах лемонтийских,
все щебечет Ленка что-то в телефон.
Все щебечут что-то птички без умишка
на аллеях Волжска, нарушая тишь.
Ничего так Волжский, Волжский городишко —
не Париж конечно. Впрочем, что Париж?

ДОМ ОТДЫХА

Дом отдыха на левом берегу.
Сосновый бор, покой, начало лета.
Тут средний сервиз, среднее рагу
в столовой и висит на льготы смета.

Среднеполосье. Не сшибает с ног
ни ураган, ни зной, ни сюрис пляжный.
Вальяжно волны катят на песок,
в песке гиббон надменный и вальяжный.

Средь домиков крапива и пырей.
В пырее в мяч постукивают маши.
С обрыва длинноногих дочерей
высматривают зоркие мамыши.

Здесь обыватель тот же, что вчера,
автостоянка в «жигулях» и «нивах».
И ночи в трелях, в трелях вечера,
а также — в танцах, лунах и разливах.

Под музыку, соперников дразня,
весь день долбят воланчик меломаны.
Тут средневолжский говор и весьма
бесстрастны средневолжские романы.

Тут нимфа, не измявшая травы,
не вспомнит после шалопая имя:

— Ах, вы герой не моего...

— И вы

не моего кармана героиня!

Без весел лодки тихо ждут своих
утопленников радостных и юных.
Тут водку разливают на двоих,
и долго бродят тени в местных дюнах.

Тут бабушки по множеству причин
торгуют, чем придется, как в Европе.
И дамы томно смотрят на мужчин,
мужчины смотрят на бутылки в шопе.

Дом отдыха. На берегу костры,
волн бормотанье, и моторок рокот.
Тут средний быт и средний шум листвы,
и среднерусский соловьиный клекот,

где не звенят души моей струны
и ум немеет, рифмы отмечая.
Тут середина Волги и страны.
И середина тут не золотая.

БЕССОНИЦА

Не сплю, верчусь и пялюсь в потолок —
что я не смог опять в себе понять?
Каким глаголам в час ночной внимать?
За что мне эти муки, этот рок —
глазеть на штору, как на холст Ван Гог,
и пред собою душу оголять?

Устал. За что, Господь, лишаешь сна?
Какие мессы я не отслужил,
что не домыслил, что не довершил?
Во чреве совесть ли погребена
проклятой жизнью, что не мной дана?
Иль эту совесть сам я порешил?

Все в доме спит. За шторами луна.
Ночная тишь вокруг. Мягка кровать.
Что не даешь, Господь, уснуть опять?
Где оступился, в чем моя вина?
А может, жизнь, она не столь пьяна,
сколь отпускает Божья Благодать?

В чем побожиться должен я сейчас,
чтоб умереть, забыться, видеть сны?
Бегут минуты, тикают часы.
Нейдет лишь сон. О небо, пятый час!
О небо, свод тяжелый, как Белаз,
на тело давит, врезавшись в трусы.

О бездна в звездах, да прибавь же ход!
В чем, подскажите, звезды, я не прав,
не знавший ласки, как Эдит Пиаф,
не знавший счастья, как Гельвеций Клод,
не знавший Бога, как отец Федот,
но зло дворов с младенчества познав.

Всю ночь не сплю, ворочаюсь, курю,
ищу ответа, но в ответах вздор.
И так уж сотню лет у этих штор:
лишь загореться стоит фонарю,
себя я сам бессонницей морю
и сам себе судья и прокурор.

ЩЕМЯЩАЯ ТОСКА

Щемящую тоску наводит на меня
Вивальди, как в морях на эллинов руно.
Неделю сам не свой от этого огня —
я вспоминаю то, что вспомнить не дано.

Домой вернусь ли — свет фонарный сквозь проем
струит и словно крыл шуршанье у виска.
Пластинку заведу, и вот опять втроем:
Вивальди, я и та щемящая тоска.

Зажгу свечу. В нее глазами, как эксперт,
вопыюсь. Да где же я впервые слышать мог
для скрипки соль минор божественный концерт
с щемящею тоской, что как огня глоток?

Ах, перед ней опять все радости пусты,
и жизнь моя как фарс отыгранный встает.
Куда влекут они, волшебные персты,
и он, скрипичный бог, откуда это льет?

РЕКА

Куда, откуда и зачем
течешь ты, Млечная река?
Я одинок, далек и нем,
и ты — бескрайне далека.

Мне Млечных волн твоих не знать,
не счесть героев на конях.
Еще так долго мне плутать,
тебе так долго течь впотьмах.

Как одиноко нам вдвоем.
Я знаю (мне не все равно),
что все куда-то мы плывем,
но вот куда, и как давно?

Куда, зачем? Ползешь по шву
в ночи, покуда не уснешь.
Мне не узнать, зачем живу?
Да и тебе — куда течешь?

В ЛЕТНЕМ ДОМИКЕ

Ставь самовар, о сахарная Фрау,
стучи соседям и на чай зови!
Уж тихий час кончается. По праву
кончается и наше визави.

Сейчас проснутся дети. В коридоре
начнутся крики, драки... Ходуном
пойдут полы, как глюки в мониторе,
но устоит фанерный этот дом.

Уж время и «борзых» пустить по следу,
уж время встать, уж куча новостей:
соседка (ах!) ночует у соседа,
а он-то (ах!) — в лесу... Зови гостей!

Где Мельниковы? Спят? Стучи сильнее!
В быту фанерном к черту этикет!
Уж на полянку вышла Дульсинея,
уж полдник близится, а Мельниковых нет.

Уж клен веранду задевает веткой,
уж клен от ветра стал совсем патлат,
и Дульсинея юная с ракеткой
уж расстегнула до пупка халат.

Как он трепещет! Черт! И, кстати, первый
заметил я в халате том вранье.

И содрогается наш дом фанерный,
когда воланчик в высь летит ее.

Вот идиотская моя манера
подозревать во всем свою корысть.
Все зыблется, весь этот мир — фанера,
стабильна во вселенной только высь.

Как ни беги, как ни бросайся в травы, —
все тленно здесь от мозга до костей.
Ах, не о том я, сахарная Фрау,
ставь самовар, зови на чай гостей!

ГЛАЗА В ГЛАЗА

Когда в глаза твои хрустальные гляжу,
как будто в город твой хрустальный я вхожу.

Наверно, ангела Господь мне показать
спустил на Землю, чтоб не смел я унывать.

И чтоб не смел небесный свиток не прочесть.
И коль хрусталь в глазах, то храм хрустальный есть.

И если храм хрустальный радовал твой взор,
зачем отводишь, словно видишь мой позор?

Отводишь взор, топчусь на паперти, как Хам.
Я шел в твой город, я хрустальный знаю храм.

И водопад хрустальный знаю, и родник,
и звон листвы, и сон травы, и птицы крик.

Я знал дворцы и во дворцах твоих цветы,
и знал тебя давно, хоть много младше ты.

И что плутаю я впотьмах земных дорог —
я подходил к вратам, да вот открыть не мог.

СПОРТИВНАЯ ЗАБАВА

Там, на площадке, за беседкой
бьют по воланчику ракеткой.
Ракетки злые и тугие.
Одни устанут — бьют другие.

Там, как в мартеновские вахты,
шарашут с бухты и барахты.
Удар! Еще удар с отмашкой!
И бац! По белой по мордашке!

Но после первого экстаза
воскликнет кто-то:
— Черт... Промазал!
И черт подловит на капканчик,
и станет Воландом воланчик.

НА ПАРУ СЛОВ

Как оторвусь от строф своих и снов,
брожу один, пустотами нагружен.
Я захожу к друзьям на пару слов,
и нахожу, что я друзьям не нужен.
Для них я также ветх, как Исаак,
им дела нет до чувств и вдохновенья.

— Ты как, по делу?

— Нет, я просто так.

И сквозь очки сквозит недоуменье.
И сквозь улыбку вижу и слова,
что вытянул клещами с миной гадкой,
он ждет, когда начну я про дела,
и на часы глядит свои украдкой.
И в ту минуту, уходя в песок
в непонятой, угрюмой укоризне,
вдруг понимаю, как я одинок,
и как я не привязан к этой жизни,
и как увязли в хлопотах друзья,
и как мечты угасли без горенья.
При новых шкурных веяниях я
для них, должно быть, недоразуменье.
И вправду, что былое бередить,
и замки в небесах, что пользы строить?
Я разлюблю по городу бродить
и с бывшими друзьями пустословить.

ТАК И ЖИВУ

Так и живу в пустых мечтах,
а жизнь, она не захватила.
Брожу и грежу, как Аттила,
то деклассируя в стихах,
то прогрессируя в грехах,
то дух вдыхая от кадила.

Еще плутаю, как Плутарх,
по опустевшим околотам,
где только времени темноты,
пустоты арок, но монарх
всегда суров. Где ж Аристарх —
там либо гунны, либо готы.

А где с душой я видел связь,
там опускала мысль забрало.
Союз Меча же и Орала
кончался мафией. И в грязь
Союз Земли с Водой, смеясь,
судьба-мерзавка превращала.

Союзы, впрочем, все узлом
на шее путались в Союзе.
Предпочитал я голой Музе
служить, чем женщине с веслом,
иль, скажем, женщине с ослом,
иль без осла, но с чертом в пузе...

Что до свободы дальних стран,
она манила божьей манной,
но мне казалась бездыханной,
похожей на бандитский клан,
куда, к несчастью, я не зван,
ни бессловесный, ни бесславный.

И вот осталось только ключ
от сердца вынуть к эннолетью.
В своей Отчизне, как под плетью,
живу под сонмом черных туч.
И лишь по-прежнему могуч
язык, звенящий той же медью.

ТОТ ОСЕННИЙ И СУЕТНЫЙ

Как я снова поеду, поеду в тот каменный град,
в тот осенний и суетный град не святых упований,
осенять и терять, ибо время осенних утрат,
ибо время раздумий, пернатых мытарств и исканий.
Как я снова поеду, поеду от клятв на крови
тосковать и скучать, и плутать меж деревьев и зданий.
Время листьев шуршанья, тоски по тебе и любви
той, что тем и сильнее, чем длиннее параллель расстояний.

Как я снова поеду, поеду отыскивать клад
среди шпаны на Тверской, среди девиц на хмельной Гончаровской.
А зарядят дожди, зарядю я вином «дипломат», —
приготовлюсь к осаде, настроюсь на лад философский.
А повалит листва, повалюсь на листву, и в листве
вдруг такое откроет мне небо среди шумного люда.
Каждой осенью с грустью бродяжьей, с которой в родстве,
ожидая, как манны, простого наивного чуда.

Ожидаю я чуда, а чудо, должно быть, меня
ищет-рыщет — не встретит, и где его, чудище, носит?
Ах, осенний шаркун, все чаруешь, унынье храня?
Как я снова поеду, поеду в столичную осень.
Пусть завалит листвой, пусть тоской по тебе истеку,
пусть дождями обложит, как волка флажками, но пьяный
все равно я поеду вплетать в свою жизнь, как в строку,
тот осенний и суетный, каменный град окаянный.

НЕ ЛЮБЛЮ МОСКВУ

Не люблю я Москву. Мне Москвы не прописана флора:
эти склепы метро, этих зданий седой монолит —
(третий Рим, Вавилон, в перспективе, должно быть, Гоморра)
не лежит к ней душа, да и тело не благоволит.
Не люблю я Арбат за торгашеский дух, где абреки
скалят зубы в киосках и прячут в карманах ножи,
где зеваки из местных за импортные чебуреки
положили бы душу, да нету давно в них души.

Не люблю и Тверской в азиатах, ментах и бананах,
где почти нескончаем не крестный к Макдональдсу ход.
Не люблю переходы все в нищих, калеках, цыганах.
Ах, столичная жизнь — это в землю сплошной переход.
Я в подвале на Пушкинской выпью паршивого пива,
чтоб паршивее стать и смешаться с бульварной толпой,
чтоб помчаться, как все, в никуда с самурайским порывом,
чтоб потом завернуть на Второй Гончаровский домой.

Плюхнусь я на кровать. Вот же черт! Как Ясон намотался.
Но обступят друзья: «Ты откуда? Скажи, не губи!»
Ах, откуда я взялся? «С соседнего неба сорвался»,
как товарищ мой бывший, а может, — и прямо с цепи.
Не люблю я Москву. Отчего же с дурацким восторгом
на Казанском схожу, и трепещет душа, как в раю?
Если я пропаду, — не звони, дорогая, по моргам —
я в Москве в переходе с гитарой и шляпой стою.

С ЛИЦОМ ПАЯЦА

Я по утрам не восклицаю "Ом!"
и бром не пью, и не тащусь от Пресли.
Я эмигрант в стране своей. И дом,
родной мой дом, не знаю где. И есть ли?

Брожу Тверской, где лиц и лавок смесь,
внутри печаль, но главное — наружность.
О никогда еще поэты здесь
не ощущали так свою ненужность.

Как без поэтов? Боже, как без них?
Без них Россия — что Земля без света.
Как отзвенит в стране последний стих,
так и начнет страна паденье в Лету.

И никакой уже Верховный Суд
не перекроет к тлению каналы.
Дрожи, земля, — лопахины идут,
скупать идут Латинские кварталы!

Внутри печаль. Брожу один Тверской,
бездомный сирота с лицом паяца.
Я заражен пророческой тоской,
и некому над нею посмеяться.

ПИСЬМО

Дружище, вот опять письмо тебе пишу:
четвертый день дожди свершают гнусный акт,
четвертый день тоску в груди своей ношу
и жду то в спину нож, то камень, то инфаркт.

А жизнь, она летит, и с каждым днем быстрее.
Припомни и потри, коль ты не пьян, виски.
Оставил что-то, друг, я там, среди фонарей —
там было, что терять, и не было тоски.

Так что теперь сказать: что жизнь бурлит во мне,
что также я, мой друг, порывист и спесив,
и что осенний день в плаксивой тонет мгле?
И раньше он тонул, но был не так плаксив.

Тоска. Осенний день такой да рассякой.
Закрит пивной ларек. Но, как сказал поэт:
«Не смейся над моей пророческой тоской!»
Не смейся, друг! В ком есть тоска, в том смерти нет.

Дружище, удивлен, что нас одной волной
не смыло, и еще той кровью глупых драк.
Как мужики? Все пьют? Как бары под луной?
И как она? К стыду, не помню звать уж как.

Так что теперь сказать: мы дети трех систем,
мы для четвертой, друг, как прежде, не годны.

Да, оказалась жизнь совсем, совсем не тем,
и звезды в вышине совсем не нам даны.

И звезды не даны, и устье не итог.
Осенний день во мгле рисует сонный глюк.
Встряхнуться бы! Да мой не склонен городок
к землетрясениям, как и твой к мессиям, друг.

И где сыскать нам смысл с космической длинной?
В столе вся жизнь моя. Остатки — на столе.
Не смейся над моей дурацкой болтовней.
Осенний день, он весь в плаксивой сгинет мгле.

ЛЮБИ ВРАГОВ

Люби врагов, как любит солнце луг,
как любит ложь сценическую зритель!
Ведь каждый враг — он в перспективе друг,
ведь твой гонитель — главный твой учитель.
Кто так учил? Не помню. Но свой век
я желчь врагов вбирал, как пыль коллектор.
И каждый Чук был в перспективе Гек,
и каждый Гек, должно быть, в прошлом — Гектор.
Люби врагов, как тумачи Пьеро,
как грезы рыцарь, как чулок монета.
Добро, оно и в Африке добро,
а зло, оно для распознания света.
Все к одному сведется — к кулаку —
за дружески протянутую руку.
Но то, что я, шутя, прощал врагу,
то не прощал уже вовеки другу.
Чем дальше в жизнь, тем больше их, врагов,
как дров, чем дальше в лес. Но в перспективе
был каждый Аракчеев — Огарев,
и каждый Лорка — в прошлом Муссолини.
Что до познания и вкушения зла —
кто как не враг твой кровный им съедаем?
Он нахлебаться прежде даст сполна,
чтоб ты в грядущем стал непотопляем.
Люби врагов без зависти, без мук,
в веселье, в грусти, в трансе, в коллективе!
Ведь каждый враг, он в перспективе друг,
но друг мой верный, кто он в перспективе?

В МАВЗОЛЕЕ

Никогда я не был в мавзолее,
но пришел однажды в мавзолей.
В нем полы от импортных «мамзелей»
оказались чуточку светлей.
Полумрак и мрамор, и ступени
вниз под землю, будто в Воланд-Град.
Был один бы, — затряслись колени,
но толпой не так ужасно в ад.
Вот и зал, где он в кровавом свете
под стеклом уж столько лет подряд.
Здесь, наверно, обмирают дети,
но те, в форме, бдительно следят.
Здесь, во тьме, под мраморным покровом
он главней всех мраморных светил.
Ни почтения, ни чего иного
в ту минуту я не ощутил.
И пройдя, как все, вокруг, робея,
я подумал: «Боже, как устал.
Все я видел это. И добрее
от того, что видел, я не стал».
Нет, добра не ищут в мавзолеях,
не затем приходят в мавзолей.
Небо сплошь в усталых пелагеях.
Твердь мертва от мраморных аллей.

НА ПАТРИАРШИХ

Середина октября
на прудах, на Патриарших.
Поминает тополь падших
с веток, словно с корабля.

Поминает Моська кнут,
раздувает мишка ноздри.
Листья сыплются, как звезды,
и горит от листьев пруд.

Рыбаков бессонных рать
мундштуки свои муштрует.
Утка лапками шурует,
разрезая грудью гладь.

Осень. Вечер. Не клюет
ни пескарь, ни мерин сивый.
Под водою лист красивый
в даль Офелией плывет.

Листья сыплются, как яд:
яд осенний, яд минутный.
А на лавочке уютной
мамы юные сидят.

И в классической тиши
огнь зари горит, как роза.

Головою Берлиоза
в мяч играют малыши.

Осень. Вечер. Энный год
все на месте, как в аптеке:
Воланд курит, щуря веки,
и мурлычет Бегемот.

И теряется «кря-кря»
как всегда в прощальных шаржах.
На прудах, на Патриарших
середина октября.

НОЧЬ В ВАРШАВЕ

Посреди ночной Варшавы
у костра под гам
что-то пел из Окуджавы
пан варшавский нам.

А голландец моложавый
бренди подливал.
Над Варшавой месяц ржавый —
польских звезд завал.

Сбрендя, пан хрипел тотошей
в местные умы
типа: «Дайте бедным грошей»,
и смеялись мы.

Вряд ли, братья-варшавяне,
гроши вас спасут.
Вы славяне, мы славяне —
ждет один нас суд.

Над Варшавой ветер шальный,
месяц, как наган.
А голландец моложавый
лил и лил в стакан.

Спали рынки, лавки спали,
скверы зрели сны,

спали венгры на вокзале,
но не спали мы.

— Вечер добри! —

точно в сказке
зрели светлячки.
И закатывали глазки
варшавяночки.

И сиял ночной румянец,
и костер пылал,
и все пели, а голландец
снова подливал.

— Вечер добри, пан!

И драный
свод катился прочь.
Над Варшавой месяц пьяный,
с «дзеньприветом» ночь.

Ночь последняя, как «Ватра»
на двоих с травой.
Зачехлим гитары завтра
и домой, домой...

Польша спит, но Окуджавой
удивляет пан.
Над Варшавой свод лажавый,
месяц кем-то дран.

Кабачки немы и танцы,
нем пивной шатер.
Ах, дзенькую хоть голландцу,
что развел костер.

Добри, паны-варшавяне,
в мире все уснет.
Вы славяне, мы славяне —
нас любовь спасет.

Я К ПРАВДЕ ШЕЛ

Я губ своих с досадой не кусал,
когда нас в нищету звала эпоха.
Мне было хорошо, когда искал
я правду. Остальное — было плохо.

Я к правде шел и, не дойдя, в кювет
свалился и назвал весь мир тюрьмою.
И был один мой крик на белый свет,
все остальное — жуткой было тьмою.

Я к правде шел тогда, когда страна
стремилась в рай земной по бездорожью.
И было правдой, что в любви она,
все остальное — сладкой было ложью.

Душа любви и смысла в ней ждала,
но получала только сонм символик.
Мне свет не мил, и тьма мне не мила,
теперь, похоже, что я меланхолик.

Теперь, похоже, что среди дождей
я обречен на медленную пытку.
Ни слова о любви в среде вождей,
об остальном, как принято, — с избытком.

ДОБРОЛЮБОВА 9/11

Литературная общага —
«общесовпис», «общепрощага»,
на стенах сырость, плесень, чага,
на вахте — палец у виска.
Здесь Блок шнырял среди абитуры,
Петрарка шастал без Лауры.
В России нет литературы,
когда такая здесь тоска.

Тут бьется все, что недобито,
и пьется все, что недопито.
Стезя познания так извита,
что хочется нырнуть в окно.
Тут не грустится, не смеется,
не спится ночью, не живется.
Не спиться бы! Тут славно пьется.
Где истина, там и вино.

Здесь первозданные поэты
у нимф стреляют сигареты,
здесь Музы полностью раздеты,
но импотентен «общепис»,
и дух казенщины под кожей,
и в дверь любую каждый вхожий,
и вечно лезет с пьяной рожей
Ананьев Слава, как сюрприз.

Тут звездных виршей не кропают,
из комнат сор не выгребают,
тут пяткой двери вышибают,
как в пошлом штатовском кино.
Что не добито — тут добили,
что не загублено — сгубили.
Блаженны те, кто не допили,
и те, кто выпрыгнул в окно.

ВОТ НАВЕСТИЛ ОПЯТЬ

Вот навестил опять места не столь уж отдаленные, где я оставил некий штрих.
Судьба не снизошла. Бродя среди болот по улицам родным, не узнавал я их.

Был дождь, и был октябрь, и день ленивей тли,
над головой вода, и в башмаках вода.
Тут Лариных снесли, там Дрянцевых снесли.
Ах, время сносит все. Уносит вот куда?

Я вглядывался в даль, в прохожих и в дома,
в канавы, в стройки, что вздымали этажи.
Да верно ли, что жил, наивный, как Фома?
Ни прежних дней, ни лиц — лишь грязь, да гаражи.

Я здесь имел друзей и смысл длиною в век.
Теперь имею боль и мысли весом в грош.
Набрать бы номер, но здесь таксофонов нет,
а встретишь таксофон, пятнашки не найдешь.

И так всегда, пока... пока ведет стезя,
не сводишь почему ни с кем который год?
Вот улицы, дома, и вот усталый я,
столь пригвожденный к ним, столь отдаленный от...

ВСЕ ТОЙ ЖЕ ЖАЖДОЙ

Духовной жаждою томим
ко мне явился шизофреник.
Он был взъерошен и без денег,
и возбужден, как римский мим.
Он был в ударе. В рукаве
грустил измятый Черный Саша.
Но, Боже мой, какая каша
в его варилась голове.
Он слышал ангелов хоры,
он видел демонов чертоги,
он, сыпля зернами из Йоги,
в пыль рассыпал мои миры.
И думал я: «Вот повезло!»,
и молвил вслух:

— Ну, раз все знаешь,
открой, что к бесам ты питаешь?
И правду всю открой про зло.
Он встал, допил свое вино
и тут же выдал, словно книга:
— Включи же свет (какого фига?),
когда в доме твоём темно!

Не помню, пала ли слеза,
но четко помню, как икалось.
Он удалился. Но осталась
летать по комнатам «шиза».
Своей не чувствуя вины,
я засыпал под хит «ай лав ю»,

и в полночь между сном и явью
она подкралась со спины.
От страха был я кирпича
белее и мертвее галла.
Она тащила одеяло,
хвостом затылок щекоча.
Я трижды вскакивал, включал
торшер, но он не загорался:
— Электрик что ли там надрался? —
так бормотал, но дом молчал.
Я знал, что сплю, что от беды
спасет зари законодатель,
и вновь впивался в выключатель,
трясаясь, как лист «туды-суды».
Мой сон во сне, как шлак в плите,
где явь тоской шуршит бумажной,
и я томился новой жаждой —
то жажда света в темноте.
Но тьма была черней дыры,
что без рассудка и названья.
Я знал, что это наказание
за то, что пошатнуть миры
позволил миму.

Впрочем, мим
явился вновь ко мне наутро
с видавшей виды Камасутрой,
все той же жаждою томим.

КУХАРКА

Приходила кухарка. Должно быть, из тех,
кто хотел управлять государством.

Приходила стихи обругать
и меня, и гитару, и голос мой бледный.

Обозвав Хлестаковым,
сказала: «Не быть мне поэтом».

И с диким коварством
проявлялось в мозгах:
«Бедный Йорик, какой же ты все-таки бедный!»

И слюною брызжа, как торговка
при виде быстро или пиццы,
обличала, стыдила,
в силки загоняла, которые сам я расставил.

Уверяла, что Коганов знает семью
и семь лет проживала в столице.

И мелькало в мозгах:
«Бедный Павел, какой же ты все-таки... Павел».

Бедный Павел, о бедный,
твоя «Бригантина» утопла, не снявшись с причала.

Бедный Йорик, о череп твой желт,
сгнили кости, язык выдают по талонам.

А незваная гостья, от злости дрожа,
все грозила, ругала, кричала,
что безвкусны, вредны мои вирши
(ее же вкус был эталоном).

Ах, мы бедные! Вкусы от бедности нашей
склоняются больше к котлетам.

Да и мэры на «мерсах» пылят по столице
все больше с котлетным фиглярством.

И мелькало в замшелых мозгах:

«Не везет же в Отечестве нашем поэтам»,
а которым слегка подфартит,
те уже у руля государства.

И когда уходила она,

насосавшись хмельных стилистических соков,

дождь хлестал за окном,

и угрюмо дымил комбинат,

будто новый Освенцим.

В ту минуту, конечно, я знал,

почему нет в Отечестве нашем пророков,

в ту минуту я понял с тоской,

что заменят их всех экстрасенсы.

А, ПОЖАЛУЙ

А, пожалуй, богатым бездельником
быть намного приятней, чем гением.
Как бы шиллингом жизнь, или пфеннигом
покатилась с налоговым трением.

Я с рассветом вставал бы и неканьем
отметал все суеты столичные.
Это роскошь — вставать с кукареканьем,
до полудня сопят только нищие.

Выпив кофе, как жидкого гелия,
я бы к морю на джипе усвистывал,
где на камнях Сапфо и Вергилия
в пляжном дреме лениво полистывал.

И листал бы Платона с Гельвецием,
и Дидро, как все светские лодыри.
А потом бы сверкала Венеция,
И Гавайи сверкали б до одури.

Эти римские скверы и венские
наводили бы мысли о скромности.
И на камни глядя карфагенские,
отрицал бы я жизни условности.

А ночами я в барах бы спаивал
юных леди, что в Тартар свой катятся.

Утешал бы я их, успокаивал:
«Все зер гуд, все о,кей, все уладится».

«Все уладится!» — пел бы я кенарем
бедным йорикам, юрикам, гаврикам.
Все уладится в мире, а за морем
континент угасал бы фонариком.

Так и я, угасая, о времени
сожалел и о годах потерянных.
Что, Господь, не родил меня в племени
где-нибудь на Марри или в прериях?

Скучно. Ночи пусты и безлунные,
и любви в них все парниковые,
джентельмены такие не умные,
да и леди такие не новые.

А на утро классическим веником
занимался б рассвет, и с почтением
признавал бы: богатым бездельником
все равно быть приятней, чем гением.

ПОД ФОНАРЕМ

В этот двор без любопытства, как в нору,
льют нездешний, льют холодный звезды свет.
Одинок бродит мальчик по двору,
и в миру ему лишь семь неполных лет.

Грустно, зябко, одиноко. На кольце
нет трамваев. И такси не слышен гул.
Вот поерзал на снегу, вот на крыльце
посидел, в собачью будку заглянул.

Пусто, зябко. Вот забрался на дрова,
вот снежок слепил — не лепится снежок.
Зябнут ножки, зябнут ручки, в рукава
задувает: «Мама, мама, я задрог!»

Вот сорока пронеслась ни дать, ни взять,
следом кошка, и снежинок — пруд пруди.
Спит навес, поленья спят, уж время спать.
Спят все дети: «Мама, мама, приходи!»

Грустно, зябко. Так неласкова луна.
Мама ласковой, но тихо на пруду.
Смолкли рельсы, встали стрелки, как она
сладко чмокнула: «Сейчас, сынок, приду.

А луны так равнодушен взгляд. И сир
свет фонарный. «Как же, мама, в этот дрем

привела... в такой чужой и страшный мир
и оставила в мороз под фонарем?»

Как тосклив фонарь. И снег на фонаре,
словно мамина беретка на ветру.
Уж все окна погасили во дворе,
а мальчишка все гуляет по двору.

Так и нас сюда с любовью в глазах
Он привел, сказал «вернись» и сгинул где?
Уж все звезды погасили в небесах,
а мы бродим все и ждем Его во мгле.

СЕРДЦЕ

День осенний, день печальный,
каплет с веток, каплет с крыш.
Что с тоской маниакальной,
сердце, стонешь и болишь?

Век ли катится к закату,
в лед ли вмерзли лопухи,
получаю ли расплату
за грехи и за стихи?

День печальный, как Омега,
день в ветвях блестит дрожа.
Затянулась осень. Снега
ждет усталая душа.

Ждет природа обновленья,
ждут дворы серебристых крыш.
Сердце, что ты, как знаменье,
стонешь, ноешь и болишь?

Что не гонишь к парапетам,
с другом в горы, с девой в стог?
Каждый день свечу рассвета
просыпаю, как сурок.

Сердце, что я изначально
недопонял здесь, в миру?

Я на мир смотрю печально,
и печально в нем умру.

Мир грядущий не нагонишь,
мир прошедший не простишь.
Да по ком, дружок, так стонешь?
Да по ком все так болишь?

Не по той ли, что не встретил,
и давно уже не жду?
Затянулась жизнь. И с петель
ветер дверь сорвал в саду.

И теперь срывает крышу
в затянувшуюся тишь.
Сердце, бьешься как, не слышу,
только слышу, как болишь.

ДОЖДИ

Третий день дожди, дожди
заволакивают душу.
Я не жду тебя, послушай,
да и ты меня не жди.
В окнах местный Голливуд —
лужи, душеньки и плуты,
и зонты, как парашюты,
над землей сырой плывут.
Утро, словно негатив —
проявляются сумбуры.
В дождь не крутятся ля муры,
в дождь читают детектив.
Третий день все ждем и ждем,
пелена перед глазами.
Все кончается слезами,
а у нас с тобой — дождем.
Вот девица — высший класс,
как подраненная птица,
ах, как хочется девице
быть любимой хоть на час.
Но давно уже в груди
нет огня, и мрак в оконце.
Ты вся соткана из солнца,
а сейчас идут дожди.

АНГЕЛ

Било полночь на заоблачных часах,
стыли звезды, плакал ангел в небесах.
Плакал ангел, и мертвел его чертог,
дождь шумел, чернели лужи, тополь мок.

Тополь мок. В чертоге выцвела свеча,
только та, по ком он плакал, хохоча,
поднимала разбитной с вином бокал,
и колючий взор огонь ее алкал.

И колючий пьяный тот закрыл окно,
и зашторил, и опять налил вино.
И зашторил мрак полнеба на Земле,
и последний луч увяз в свинцовой мгле.

Плакал ангел и слезами хоронил
ту, которую любил он и хранил.
Не подняться, не родиться больше ей.
Луч погас. В чертоге кончился елей.

Луч погас. Не скоро здесь начнет светать.
Слезы выплаканы. Нужно улетать.
Слезы выплаканы. С крыл бежит вода.
Улетать... Не возвращаться никогда...

ПТИЦЫ УЛЕТАЮТ

В доме денег нет, и все не очень:
хлеб не очень свеж, и белой ночи
чай светлей, пусты шкафы... А впрочем,
вся страна как тонущий корабль.
Ничего, что все не очень. Завтра
птицы прилетят в Александрию,
и начнет с дождливой истерией
август деградировать в сентябрь.

Ничего, что шуткою дрянною
оказалась жизнь, а счастье — лажей.
Ничего, что знать не хочешь даже,
как пусты больные вечера.
Ничего, что пусто за спиною,
а вдали — Великая Россия,
следом — ожидаемый Мессия,
словом, завтра также как вчера.

Кто живет меж пальм у океана,
кто на островах средь лимузинов,
кто средь звезд, отелей, магазинов,
кто в степи бесплатно пьет кумыс.
Нам же ни страстей, ни ураганов,
ни потопов, ни трясин, ни пекла
Бог не дал. И что живем так блекло
есть ли в том, какой вселенский смысл?

Птицы эмигрируют под Конго,
лица подозрительные — в Манго,
с желтизной в глазах — на берег Ганга
свой ментальный смысл отглянцевать.
Бизнесмен в Перу оглох от гонга,
брат поэт в Бордо во имя дружбы
с мисс танцует, а по долгу службы
должен здесь, за плугом, танцевать.

Ничего, родная, успокойся,
не такой уж я и жалкий плакса,
чтобы на потребу англосаксу
как-нибудь без смысла умереть.
Там, души в европах нет! Не смейся!
Я читал! Душа же, вероятно,
там, где все «не очень» многократно,
то есть, как у нас, где все на треть.

Ах, не смейся! Сам смеюсь. А впрочем,
ничего, пройдет, перезимуем,
«кровь с любовью» лихо зарифмуем,
хоть любви не видно здесь давно.
Ничего, что жизнь, она не очень.
Птицы улетают. Ближе к ночи
будут, вероятно, птицы в Сочи.
Ничего, родная, ничего.

ДОН КИХОТ

А стемнеет, он выходит на балкон,
ветер треплет бороденку и перо.
«Диги-донн! — звенит полночно, — диги-донн!»
Не кричит ли, не зовет на помощь кто?
«Диги-донн!» Луна над теменем висит.
Спит округа, спит прислуга, и, как встарь,
спит вселенная, и только он не спит —
только он не спит, да тот немой звонарь.
«Диги-донн!» Заплакал кто-то за мостом:
встрепенулся дон, очнулся, сжал кулак.
Это ветер задевает тьмы хвостом,
да звонарь не унимается никак.
Вот разверзнул темноту девичий крик,
«диги-донн!» — не заглушить уже его.
Как напрягся, как затрясся бледный лик:
«О судьба, на смерть мою ты шлешь, кого?»
Но отбой! И вытирает хладный пот.
Это дети разыгрались за рекой.
И вздыхает облегченно ветер: «Вот...
вот и ладненько... живи... И бог с тобой...»
«Диги-донн!» — вздохнул печально сонный лар.
Время вышло, время бренно, время спать.
О судьба, давно он немощен и стар,
попрощайся перед тем, как испытать.

ПУШКИНУ

Слыхали вы, как плакал он по вас,
певец любви, на Альфе иль Омеге,
когда тонула полночь в лунной неге
и был уныл полей полночный глас?

Что снилось вам в ту роковую ночь,
когда свеча пыталась мысли путать?
Но было время все еще обдумать
и рассудить, что дальше жить невмочь.

Но знали вы, что час уж настает,
что воля — вздор, покоя — ни на кроху,
что выстрел будет ваш в самую эпоху,
но пулю ей кольчуга отобьет?

Вздохнули вы, порывы возведя
до горних сфер, что на Земле гонимы?
И снова жизнь с душой несовместимы,
но все равно, устало уходя,

вздохнули вы?

ТЕПЕРЬ ВСЕ ЧАЩЕ

Теперь все чаще думаю о ней
(о смерти, да!) с классической улыбкой.
Не то, чтобы она уже калиткой
скрипит призывно. Боже упаси!
Скорей, тут любопытства зреет знак.
Не усомнись, читатель. Это так.

Так что за ней? Какие явь и новь?
Какие реки, раки... руки амфор?
Не нужно ль свежих мыслей и метафор,
новейших рифм, ну, скажем: «кровь-любовь»,
иль «слезы-грезы», иль «скафандр-Менандр»?
Как Цезарь там, Светоний, Александр
(что был повеса)? Почернев от тайн,
писал, не контактируя с властями:
«О поле-поле, мертвыми костями
модернизировал тебя какой дизайн?»
Все те же думы (видите?), тоска —
сырая твердь, дубовая доска.

Итак, все чаще думаю, как изгой,
влачу о смерти на замшелой тризне.
Теперь все меньше думаю о жизни,
о счастье — вовсе нет. Есть вечный бой.
Он вместо счастья. Есть еще покой.
Но он (покой без счастья) мне на кой?

Покой и воля, воля и покой,
и вновь покой, покой нам только снится.
В любовной лодке Божий Дух томится,
ему б корабль, чтоб неся над строкой,
ведь строки засосут сильней болот,
вокруг же (ах!) такой водоворот.

Вокруг такое... Я же на стихи
ухлопал век. Я жизнь недоувидел,
недолюбил, не дожил, как Овидий,
недопознал, недовкусил грехи.
А жизнь все мимо, жизнь, она не тут,
вдобавок, и стихи-то не прочтут.

Да-да. Труды и дни. Умы и твердь.
Расплющены умы в библейской тверди.
Итак, чем чаще думаю о смерти,
тем безразличней мне старуха смерть.
Вот что за ней, где некогда я был?
Ах, да! Там Царство Божие. Забыл.

Мне Царство то представить не дано,
но думаю о Господе, как вестник,
и думаю о том, что вправду если
мы слеплены по образу Его,
то здесь такую мысль хочу я вшить,
что Он про Царство мог и пошутить

ДА УПАСИ, ГОСПОДЬ

Вот первые стихи, которым я служил,
что с нервным хохотком всегда потом листал:
ужели это я писал, почти как жил,
и так нелепо жил, как впрочем, и писал?

Мне стыдно за сумбур, разброд. А вдруг за честь
сочтет их через век потомок мой издать?
Да упаси, Господь, кому-нибудь прочесть
наивную мою с ошибками тетрадь!

Ее порвать бы, сжечь, что помнил — то забыл,
чем дорожил — давно не восхищает глаз.
Я в рифмах был слабак, но искреннее был,
и к истине своей был ближе, чем сейчас.

Куда теперь несешь, шальная колея?
Что впереди? Кого из памяти стирать?
Ведь истина у всех, пожалуй, что своя, —
моя, должно быть, в том, чтоб сжечь свою тетрадь.

В ТРАМВАЕ

Трамвай летит по снегу,
и в нем, как в мясорубке.
Все спим какие сутки,
и в душах вечный смог.
Но трогательно ножки
сияют из-под шубки,
и снегопад в окошке
игрив и тонконог.

Когда Творец в ударе,
мы пребываем в шоке:
столбы, дома, дороги
мелькают, как в кино.
Глаза сияют синью,
румяны лоб и щеки,
трамвай летит по снегу,
а ты глядишь в окно.

А я гляжу на профиль,
что светит, как отрада,
что вписан так изящно
в дремотный наш салон,
на фоне пассажиров,
на фоне снегопада,
в котором ты — богиня,
все остальное — фон.

Трамвай летит по снегу,
трамвай летит над снегом,
вот в снежной этой неге
взлетает к небесам
навстречу всем центаврам,
навстречу всем омегам —
ведь фон небес так кстати
к сияющим глазам.

ТРИПТИХ

1

Я устал быть обязанным небу по гроб
за твое пребыванье во мне.
Я оплеван, обруган тобой, как холоп,
и с тобою я в вечной войне.
Ты на Землю сошла мой закат протрубить,
схоронить то, что я не создал.
Я устал воевать, и устал не любить,
я устал, дорогая, устал.
С каждым годом мрачней и черствей с каждым днем
становлюсь, рассыпаясь крупой.
Утомился я шахматным прыгать конем,
и не быть утомился собой.
Не приемлет уж грудь ни сады, ни суды,
точно плавает пепел в крови.
Только сердце, оно, как пустыня воды,
ждет любви и желает любви.
Да не той, с коей тайно выходит на связь
по ночам сатанинская сыть.
Но с Овидием снова под лампу садясь,
я рискую обруганным быть.
Ты спустилась сюда, ты явилась ко мне
превратить мое сердце в кристалл.
Я не лажу с собой и с людьми на Земле,
и в тебе пребывать я устал.

2

Всюду тряпки и тряпки. Тряпичная гать!
И куда мне от гати деваться?
У тебя нет минуты тряпье разобрать,
у меня нет ее — препираться.
Где мой меч, дорогая, где лук и копье,
где кольчуга и шлем мой столичный?
Мне досадно, что так подминает тряпье,
и ты прыгаешь куклой тряпичной.
Всюду тряпки и тряпки! Я их не прощу
за тряпичные мысли-культапки.
Я ищу свое небо и звезды ищу,
но, увы, натываюсь на тряпки.
Ты ресницы свои поднимаешь, как стяг,
кошка лижет тряпичную лапку,
я от злости сжимаю тряпичный кулак,
превращаясь в такую же тряпку.

3

Не понявший тебя и непонятый сам,
от твоих сатанинских обличий
укачу за черту городскую, где гам
городской превращается в птичий.
Брошусь в травы, раскрою Овидия и
прошепчу, остывая: «Изыди!»
И Овидий мне будет роднее, чем ты,
и понятнее будет Овидий.

Что за чудо! Как подлинно! И каково? —
День замрет над страницами пегий.
Засмеюсь от любовных элегий его
и заплачу от скорбных элегий.
И почувствую вдруг из нервного дня,
из приبلудного мира, что канет,
как вливается чудный Овидий в меня
и как в вечность нездешнюю тянет.
Я вернусь просветленный, но ты не поймешь —
свет поэта не всякому виден.
И подумаю я: «Что вот так и умрешь,
и останется только Овидий».

ФОРТУНА

Совсем обо мне ты не помнишь, Фортуна,
фортуна, совсем обо мне ты забыла!
Так блекло живу, и гляжу так не юно,
что хоть за веревку хватайся и мыло.

За что нелюбим я, Фортуна, тобою,
Фортуна, чья в жизни удача удачней?
Невзрачное небо плывет надо мною,
и с каждой неделей оно все невзрачней.

Фортуна, где путь к вожделенному раю?
В безвестие рок загоняет, как гунна.
За что ни возьмусь, только силы теряю,
и вязну в быту, как в болоте, Фортуна.

Я в клетке, в капкане, в тюрьме, или где там?
Мне странно, что лира звучит еще струнно.
Она-то меня на съедение бедам
и бросила в качестве кости, Фортуна.

Ты любишь блистательных, любишь красивых,
веселых и сильных, почти что героев.
Я знаю, удача — аванс для спесивых,
который потом отработаешь втрое.

Такие в Нью-Йорке, Перу и Провансе —
повесы и выскочки, просто гуляки.

Фортуна, о как я нуждаюсь в авансе,
как те горемыки в божественном маке.

Всю жизнь от аванса бредешь до получки,
от пьянок до гранок, от съезда до съезда,
а в небе лишь тучки, и тучкины штучки
меня усыпляют почти у подъезда.

ОБЛАКА

Константину Бальмонту

Облака уплывают, уносит мои облака,
и куда их уносит, в какой они рай уплывают?
Где эпохи мои, где периоды, вехи, года?
Чтобы миг удержать, люди сваи под землю вбивают.

Облака оплывают, и тают мои облака,
оплываем и мы, или таем от звуков валторны.
Хочет юность еще удержать с косметичкой рука,
только все это вздор! Жизнь не любит застывшие формы.

Облака уплывают, чтоб место другим уступить.
Кто там следом с такой же любовью и солнечной жаждой?
Упаси же нас, Господи, в Млечном Теченье застыть!
Даже ангел, и тот не влетит в одно облако дважды.

ЧЕРТИ ЧТО

И когда умолкает весь дом,
как внезапно стихийная буря:

— Наконец-то, — себе говорю я.

— Черти что! — добавляю потом.

Черти что! Снова запах весны,
звон капли и хохот привычный.
Но сказал громовержец столичный:
«Тишины я хочу, тишины».

И когда я учтиво дивлюсь
на сопение в шумном семействе,
вспоминаю, что гений в злодействе
и на цыпочках в кухню крадусь.

И за час до цепных петухов
на пол сыплются с полки стаканы:
разбегаются все тараканы
от моих беспардонных стихов.

О глухая российская ночь!
Сыплю чаю в стакан, как тротила,
чтоб в руках моих было не хило,
чтобы строки искрились и включь-

я рвались, как бомбы в руках,
чтобы дрожь пробегала по коже,

с той надеждой, что истина, может,
хоть не будет сейчас в дураках.

О российские ночи в глуши
сотрясают то мысли, то троны.
Заряжаю стихи, как патроны,
день для взвода, а ночь для души.

И когда умолкает кругом
(лишь капель пробивается где-то):
— Не уснуть, — говорю, — до рассвета.
— Черти что! — добавляю потом.

ЗИМНИЙ РАССВЕТ

Лай собаки, рассвет, на стекле кренделя,
за стеклом — запорошенный сквер.

Заморожен мой сквер, заморожен он для
новых чувств и новейших из вер.

Заморожены все мы до лучших времен
в беспробудном Отечестве, где
только лай одинокий, да скрюченный клен,
да фонарь, как охранник в суде.

Встаньте, Суд начинается Божий! Но тут
не встает раньше солнца никто.
Снова беды из тьмы беспробудной грядут,
да снежинки летят на стекло.

Одиноко так рано проснуться. В окне
одиноки дома и огни.
Перемены грядут в беспробудной стране,
но меня не волнуют они.

А волнуют, как прежде, рассветы и май,
запах роз и жужжанье стрекоз.
Беспробудная даль, убивающий лай,
старый дворник, как новый Христос.

СОДЕРЖАНИЕ

Теперь	3
А сегодня так тихо	5
Грачата	7
В процедурной	8
Жгу стихи	9
Словом дождь	11
Воля	12
В поезде	14
Волжский	16
Дом отдыха	17
Бессонница	19
Щемящая тоска	21
В летнем домике	23
Глаза в глаза	25
Спортивная забава	26
На пару слов	27
Так и живу	28
Тот осенний и суетный	30
С лицом паяца	32
Письмо	33
Люби врагов	35
В мавзолее	36
На патриарших	37
Ночь в Варшаве	39
Я к правде шел	42
Добролюбова 9\11	43
Вот навестил опять	45

Все той же жаждой	46
Кухарка	48
А пожалуй	50
Под фонарем	52
Сердце	54
Дожди	56
Ангел	57
Птицы улетает	58
Дон Кихот	60
Пушкину	61
Теперь все чаще	62
Да упаси, господь	64
В трамвае	65
Триптих	67
Фортуна	70
Облака	72
Черти что	73
Зимний рассвет	75